



ГАЛИНА
ВОЛКОВА-ШЕВЕЛЕВА

Николай
Иванович

Галина Волкова - Шевелева

Николай Иванович

«Автор»

2026

Волкова - Шевелева Г.

Николай Иванович / Г. Волкова - Шевелева — «Автор», 2026

По словам советского классика, которые вобралив себя народную мудрость, «В России нужно жить долго, тогда до всего доживёшь!» Моя собственная, совсемне маленькая жизнь хранит множество ярких эпизодовна фоне жизни Страны и общей жизни людей моегопоколения. И мне хочется этим поделиться, что я и делаюв меру своих писательских способностей. Буду счастлива,если эти мои рассказы найдут отклик у читателя! Автор.

© Волкова - Шевелева Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Предисловие	6
Вирус и Николай Иванович	7
Шуба	10
Сны	13
Гроза	17
Кондратьев и время	20
Взгляд из окна вагона поезда	27
Мебиус	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Галина Волкова - Шевелева Николай Иванович

От автора

По словам советского классика, которые вобрали в себя народную мудрость, «В России нужно жить долго, тогда до всего доживёшь!» Моя собственная, совсем не маленькая жизнь хранит множество ярких эпизодов на фоне жизни Страны и общей жизни людей моего поколения. И мне хочется этим поделиться, что я и делаю в меру своих писательских способностей. Буду счастлива, если эти мои рассказы найдут отклик у читателя!

Предисловие

Минувшее, освещённое любовью, не исчезает

Новая книга Галины Волковой называется по первому рассказу, весьма прозаически, обыкновенным русским именем. Но оно во главе собрания рассказов не случайно. И как бы намеренно подчёркивает главенство своего положения.

Герой этого рассказа, Николай Иванович, школьный учитель музыки, заурядный музыкант, оставил неизгладимый след в душе ребёнка, проложивший дорогу воспоминаниям, из которых сложилась книга. Музыка в детстве, нотные знаки – краеугольный камушек будущей личности.

Но к скрипичным звукам необъяснимо и потаённо присоединилась любовь.

В простоте, в повседневности видимого заложена глубина детского мировосприятия, где музыка уже тогда занимала особое место – самое сокровенное. И присутствовала поразному на протяжении всей жизни. Что заметно и по другим рассказам.

Из окна вагона поезда дальнего следования открывается красота русского пейзажа, которую не затмишь паровозным дымом, влетающим в купе через открытое окошко. Пятнадцатилетняя девочка, да и все пассажиры, «покрытые слоем угольной пудры», любят панорамой лесов и полей. Кроме одного, как выяснилось позже, артиста Большого театра, который едет в областной оперный театр исполнить сольную арию в опере «Аида». Он, лёжа на верхней полке, смотрит не в окно, а в листки партитуры – живую для него музыку. В девочке вспыхивает любовь – мгновенная, лучезарная. Попутчик, кажется, это заметил и посвятил своё будущее исполнение влюблённой девочке. Она будет слушать его в курортном городе из репродуктора, прикреплённого к столбу. Как слушала когда-то в детстве классику из чёрной радиотарелки.

Символический знак доступной культуры: «В течение дня музыка не исчезала, она вяло сочилась из тарелки постоянным потоком, то пафосным, то грустным или горестно-лиричным, как и вся наша тогдашняя жизнь».

Лейтмотив книги: «Это было недавно, это было давно...»

Красота, по мнению автора, заложенная в детстве, неистребима. Иногда она, исчезнувшая на бытовом фоне, возникает в снах, обретает сновидческие формы.

Минувшее, освещённое любовью, не исчезает. Даже, когда любовь до смерти, до крови. Даже, когда поле надежды становится полем боя...

Двадцатый век истреблял в России надежду безжалостно. Но только с поверхности. Любовь преображает любую вытоптанную поверхность. «Всё лучшее на свете рождается, как известно, в любви».

Галина Волкова видит её и в романтических взлётах, и в трагичных обстоятельствах. Она одухотворяет воспоминания автора.

Порой они касаются сказочных перевоплощений, когда герои выныривают из грязи да в князи. Но такова наша реальность. Может опустить и в обратном направлении. Писатель наблюдает, но не ставит окончательного диагноза.

Одному из рассказов предпослан эпиграф, слова Бердяева: «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли: та же безграничность, бесформенность, устремлённость в бесконечность, широта...»

Слова русского философа пронизывают всю книгу, соответствуют общему её содержанию.

Александр Зорин,
российский поэт, переводчик,
член Союза писателей СССР с 1979 г.

Вирус и Николай Иванович

За окном бушует пандемия... Очень страшно...

Просыпаюсь и врубаю Шопена. Я заметила, Шопен очень хорош для оплакивания прошедшей жизни. Она как-то теряет несуразность и предстаёт перед затуманенным взором в виде плноводной реки, в которую Шопен позволяет входить сколько хочешь, не то что дважды...

В очень далёкие времена, в год окончания Великой Войны, в моём первом классе «Б» существовал, как ни странно, урок пения. И был учитель, седой тоненький старичок, в довоенном костюме с жилетом, с остренькой бородкой и маленькой скрипочкой. Николай Иванович... До Николая Ивановича единственным источником музыки служила чёрная тарелка радио, висевшая на стене над этажеркой.

В шесть часов утра тарелка будила меня, наполняя имперской гордостью государственного гимна. В течение дня музыка не исчезала, она вяло сочилась из тарелки постоянным потоком, то пафосным, то грустным или горестно-лиричным, как и вся наша тогдашняя жизнь. Такое вот было музыкальное сопровождение...

Не оттого ли музыка сопровождает меня всю жизнь, да так, что я этого почти не замечаю. Как говорится, вошла в плоть и кровь.

Николай Иванович со скрипочкой молча входил в класс, молча брал мел и рисовал на доске ноты на пятистрочной линейке с загадочным знаком скрипичного ключа. Мы срисовывали.

Я совершенно не связывала то, что рисовал Николай Иванович, со звуками скрипки. То ли я была бестолкова, то ли учитель не смог до меня достучаться. Да он и не стучался ко мне, как будто был абсолютно уверен в моей врождённой музыкальной понятливости. А мне казалось, что только я одна и не ухватывала суть нарисованного, тогда как остальные всё понимали. Потому что остальные, выходя к доске, что-то, хоть и неуверенно, но отвечали на странные музыкальные вопросы и иногда даже удостоивались одобрительного кивка Николая Ивановича.

Я же доски боялась страшно, до дрожи, потому что мне лично сказать Николаю Ивановичу было абсолютно нечего, и он, видимо, чувствуя это, почти меня и не беспокоил.

Сейчас я наивно размышляю, с опозданием в 70 с лишним лет. Вот думаю, ну что бы стоило старичку тогда произнести следующее: «Дети! В жизни полно чудес! Музыку можно прочитать! Вы ведь учите буквы алфавита. Вы смотрите на нарисованную букву и говорите а-а-а! Или бе-е-е! Так, дети, и в музыке. Вы смотрите на эту нарисованную буквунотку... Она находится на вот этой добавочной линеечке, внизу. Видите? И вы её также можете прочитать, то есть спеть, вот так, как сейчас споёт скрипка! До-о-о!»

Но! Николай Иванович ничего этого почему-то не говорил, наоборот, он как бы делал из этого очень большую, можно сказать, государственную, тайну. Наше детство вообще, скажу я вам, состояло из бесконечных тайн. В том числе «Военной тайны», также ставшей для меня непреодолимой, но о ней как-нибудь в другой раз.

Так вот, на самом деле почти все дети нашего первого класса «Б», выходя к доске (как оказалось), попадали в цель случайно, как, впрочем, и я, но делали вид, что кое-что соображали. И всё это напоминало игру «Угадайка». Меня эта Угадайка просто изматывала, и я тихо ненавидела урок пения, то есть я бессознательно возненавидела саму музыку.

Помнится, именно с этой скрипочки и непонятого скрипичного ключа сложилось у меня представление, что любое постижение премудрости строится на угадывании и что переспрашивать ничего нельзя. Надо смотреть в глаза и схватывать! А обнаруживать свою несообразительность – это опасно и стыдно.

Как часто, попадая в дальнейшем в разные жизненные обстоятельства, вспоминала я эти несовпадения, эти тайны, зачем-то сочиняемые для нас, с непонятным желанием запутать, заставить усомниться, волноваться, отчаиваться...

Не из тех ли невинных самообманов рождалось привычное нежелание разбираться в сложно звучащем мироустройстве?

До появления скрипочки Николая Ивановича живая музыка присутствовала ещё в виде частушек в исполнении наших барачных тёток. Этот праздничный фольклор вызывал во мне почему-то жуткий внутренний стыд.

Во-первых, тётки-исполнительницы, как правило, были навеселе. Во-вторых, фокус состоял в их упорном желании не только перекричать друг друга, но и придать своему голосу противное визгливое звучание. Из частушки в частушку кочевал герой по имени Милёнок, можно сегодня сказать, это был настоящий секс-символ безмужного послевоенного времени.

Тётки, которые казались мне старыми, то есть совершенно непригодными для каких-либо душевных отношений, визгливыми скороговорками завлекали Милёнка всяческими бесстыжими способами. Какие только сумасшедшие намёки не залетали в наши детские незащищённые уши.

Это была музыка улицы. Куда там было Николаю Ивановичу с его невинным: «Ах вы сени, мои сени, сени новые мои...» Или исполняемые возле парты общие, прямо-таки языческие, кружения с притопом и прихлопом: «Ну что ж, кому дело Калина, да ну кому какое дело Малина!» И это после Милёнка! Музыка!

Если в нотной Угадайке была всё же какая-то романтика, были поиски чего-то высшего, нащупывание искусства, почти музыки, то завлечение наглого Милёнка выглядело иной раз прямой демонстрацией чего-то постыдного, грубого.

Но! Забыла совсем! Патефон!

На светлом кружке в сердцевине пластинки, там, где на нашей, отечественной, было написано «Ногинский завод», на заграничной была нарисована собака у открытой пасти граммофона. И надпись «Колумбия!» Знакомые мелодии открывались под чужими волнующими именами – ди Таубе... Голубка...

Но! Ногинский завод тоже не подводил! Начиналось всё с шипения, как предвкушения шампанского, будто и вправду открыли бутылку пенистого, шипучего. И вот оно наконец полилось в бокалы ритмичными струями и брызгами, чёткими звуками танго. И каждый раз, как только раздавалось шипение, тотчас происходило что-то таинственное, сладко смущающее, с телом, с головой, с сердцем...

Мои родители были в ту пору ещё молоды и хороши собой. И они были танцоры. Вижу их в объятиях друг друга, сначала слегка покачивающихся в своём сплетении, будто приносивших к вхождению в магическую зону ритма. А моя Душа начинала трепетать... И страдать... Я была в этом дуэте третьей лишней. К кому, к чему я их ревновала? Друг к другу? К любви? Но ведь их любовь была единственной гарантией моего детского покоя! Нет, не ревность... Это был тайный страх! За хрупкость этого объятия, за минутное торжество здоровья и молодости... Или, может быть, это было моё первое предощущение быстротечности жизни, быстротечности счастья.

У мамы был очень приятный голосок, и она, помню, часто напевала, так нежно, из «Снегурочки» «Лель мой, Лель мой, лели лёли лель...» Иногда я мурлыкала вслед, борясь с весьма посредственным слухом, понимая и стесняясь своего несовершенства. И что это такое, Лель, то ли имя, то ли чудесная игра звуков. А как хорошо, как вольно языку и нёбу с этим Лелем-лелем, как удобно! Как доверчиво и открыто! Лели-лели-лель...

– Мама! Что это, Лель? Разве в жизни бывает Лель? Ты придумала? Лель это музыка?

– Да уж, это вам не Милёнок какой-то ваш! Лельэто глаза к небу и нежность...

Классе в четвёртом появилась Верочка, подружка. Певунья ростом с ноготок. У нас был разбитый Циммерман, а у Верочки Циммермана не было, хотя Верочка училась в музыкальной школе. И она ходила к нашему Циммерману играть по нотам. Верочка пела! Божественно! Хрустально! От её пения я исходила слезами! В отсутствие Верочки мяукала, воображая себя Верочкой. Потихоньку стала подтягивать ей, поначалу робко, потом просто в унисон. Верочка была добрая, милая, смешливая. Меня за фальшивку не ругала, только, бывало, поднимет слегка свою маленькую ручку, предвеляя моего откровенного «петуха».

Всё лучшее на свете рождается, как известно, в любви. Я стала забывать Николая Ивановича, и классу к пятому мы с Верочкой уже певали вдвоём что-нибудь незатейливое, но из Верочкиной школьной программы. «Мой миленький дружок, прелестный пастушок». Верочка своим божественным: «О ком я во-оздыхаю...» И я (нагло): «И страсть открыть желаю...» И сливаясь: «Ах! Не при-ишёл пля-а-сать!»

Моя музыка всегда существовала двойственно. У истоков она была для меня абсолютно приватизированной: радио, гимн, школа с Николаем Ивановичем. Ничего личного, и лишь иногда из потока радиоточки я выхватывала нечто волнующее, необходимое, но оно уносилось, ускользало мгновенно, без имени, без источника, без права на него.

Моя первая опера была «Проданная невеста» Дворжака. Так легла карта. Отец повёл меня знакомиться с оперой, и тень Николая Ивановича сопровождала меня весь вечер. Я знала, что мне это ДОЛЖНО понравиться...

Всё, что звучало на территории Николая Ивановича, опера, симфоническая музыка, которую слушали с полуприкрытыми глазами, с маской глубокой духовной задумчивости, сидя в намоленных залах впритык друг к другу, ДОЛЖНО было мне понравиться.

Если бы мне привелось исповедоваться, то лучшему из святых отцов я призналась бы, что тайно считаю такие слушания похожими на соглядатайство при актах чужой любви. Но где же выход? А я не знаю!

С тех пор, как ко мне пришла моя музыка, я готова быть с ней только наедине. Рыдать или бесноваться в диком танце, но только вдвоём.

Однако! Что же я привязалась к этому далёкому несчастному Николаю Ивановичу? Что он мне сделал? А вот, свербит... будто он, этот загнанный в школу послевоенной нуждой старичок, в своей заношенной сбережённой тройке, со своей скрипочкой, был виновником моих бед...

Ведь, скорей всего, музыка не была его стезёй и учительство его случайно. Но почему-то его профессиональная непригодность, его отчуждённость стала отправной точкой и моего отчуждения от мира, от музыки, моих страхов и заслонов.

Иногда, робко пробегая по клавишам вслед за божественным шопеновским ноктюрном «ми бемоль мажор», вспыхивая от первых же угаданных двух нот, си и соль, сразу определяющих настроение, мгновенный уход в мир грёз, я мысленно показываю язык... Кому?

Конечно же, ему, бедному Николаю Ивановичу. И даже вирус, оккупировавший законное пространство, он точно одет в знакомую серую тройку. Вот его я дразню, и его я боюсь. И всё вспоминаю свою жизнь, закутываясь в прозрачного Шопена...

Шуба

Она мне мешала, тяжёлая, большая, вещь из прошлого. Не такого уж и далёкого, но прошлого. А вот само это слово «шуба» сегодня утратило вес, почти перестало говорить о денежном эквиваленте, о честолюбивых помыслах, о положении в обществе.

А было время...

Правду сказать, моя маленькая отважная мама не была так уж сильно подвержена упомянутым человеческим искушениям, и всё же...

У маминой сестры Сони была шуба из приличного каракуля, а у сестры Эммы вовсе из лейпцигского щипаного котика. Я слышала это гордое заграничное название из уст самого Эмминого мужа, нашего самого вредного и самого загадочного родственника. Собственно, вот этот «щипаный» и к тому же «лейпцигский» котик особенно повлиял на мою бедную маму. Видимо, процесс «ощипывания» в далёком Лейпциге... Немцы сидят и щиплют бедное животное...

В результате мама, воспитанная в абсолютной советской аскезе, тайно стала просто одержимой идеей шубы. В её мечте не было ничего определённого относительно представителя фауны, из которого шуба будет сшита. Маму интересовала только форма, она была, видимо, «формалисткой», но, слава богу, никто не догадался об этом. Мамину мечту подогревала бабушка, человек (на словах) решительный и даже агрессивный в деле добычи жизненных благ. Незабываем бабушкин большевистский лозунг, звучавший боевито и наступательно. Она постоянно провозглашала, что «вещь» нужно «вырвать», иначе ничего ты в этой жизни не добьёшься. Правда, при этом бабушка вовсе не имела в виду незаконное вырывание вещи прямо из рук владельца. Да бог с вами! Нет! Просто вот у вас денег нет, но вы их любыми путями находите и, зажав в кулаке, незамедлительно бросаете в топку и быстро вырываете нужную вещь из огня, прямо на ходу Паровоза, который «вперёд летит». Как-то так!

И вот, в один прекрасный день, некто сообщает маме, что завтра будет большое подорожание или вообще реформа, а в ГУМе будто бы выбросили много товаров и шубы в том числе.

И мы с мамой, зажав в кулаке (а может быть, в бюстгальтере, не помню) деньги, ринулись в ГУМ!!!

Шубы там были... Не совсем каракуль, это называлось – смушка. Размер был один-единственный, небольшой. Фасон непонятный, мешком. Нам не хватило двух рублей. Но мы её купили.

Деньги... Мама была бухгалтером и работала сразу на трёх работах, жутко боялась необеспеченной старости. Шуба стоила 450 рублей. Помню эту цифру на бирке, которую мама не отрывала несколько лет. При этом она безумно боялась, что кто-то, увидев эту цифру, заподозрит её в нетрудовых доходах. Особенно опасен был Эммин муж со своим щипаным котиком. Он шубу посмотрел и подозрительно спросил о цене, и моя честная мама впервые в жизни приврала, цену занизив. Но оторвать бирку при этом не решилась. Муж всё видел...

Носить шубу мой «Акакий Акакиевич» тоже не решился. Боялась, украдут, например, в театре, с вешалки. Таковую-то красоту!

Не помню уже, сколько времени провисела в шкафу наша шуба. Мама ушла в мир иной, наступила перестройка, и я решила перешить шубу, облегчив её и добавив этой самой смушки для лучшей «формальности». Шуба стала современной, но советская технология пошива не позволяла ей стать легче, удобнее. Перестройка не справилась с клеями и швеями. Поносила шубу я одну зиму...

Наступили девяностые. Дочери-студентке понадобилось что-то на зиму. Подруги передали мне отличную меховщицу. И мы стали сооружать из перестроечной шубы современное

девичье пальто. В Столешниковом был куплен роскошный чёрнобурый воротник и добавлено ещё смушки.

А вы знаете, что диких лис постоянно прививают? От бешенства. Наша была точно привитая. Так вот, выпотрошили утеплитель, оставив пролетарскую смушку наедине с богатой дикой привитой лисой. Сделали карманы, оновили силуэт. Студентка проносила пальто ровно один сезон. Тяжёлое!!! И бедную смушку вместе с очаровательной седоватой лисой повесили на прежнее место.

На прошлой неделе я подарила шубу молодой женщине из Киргизии. Она взяла её очень неохотно. Сделала мне одолжение. Из уважения...

Маминых накоплений после реформы хватило на свадебные туфли дочке.



СНЫ

Жизнь – такая система, где всё загадочным образом и по какому-то высшему плану «закольцовано».

Ю. Трифонов. Старик

Старику Силину Геннадию Степановичу в который раз приснилась позорная сцена из его далёкой «заводской» жизни, где он, тогда ещё не старый дипломированный инженер, непрошено входит в святая святых, в кабинет директора своего родного завода Кисиля. В руке держит он гербовую бумагу с чётким заголовком: Совет Министров СССР по делам изобретений и открытий. Январь 1974 года. Входит и говорит громко, но с трудом ворочая непослушным языком и глядя Кисилю прямо в глаза: «Вы, Андрей Евлампиевич, присвоили себе авторство моего изобретения, которое принесло заводу прибыль в размере 100 000 рублей. Я получил за это 90 рублей, а должен был, согласно вот этому документу, получить 5000».

Кисиль берёт из его рук бумагу, рвёт её на мелкие кусочки... и рычит, перекосив страшный бешеный рот, брызгая слюной: «Опять ты??? Если ты, сучонок, ещё раз войдёшь в эту дверь, я выброшу тебя в окно!

Я тебя посажу!»

Господи! Он ведь, стыдно сказать, обмочился тогда! Кому скажи... Хотел убежать, да ноги прямо отнялись от страха.

А дальше, во сне, увидел он, что вместо разорванной гербовой инструкции у него в руках оказалась вчерашняя распечатка, где было написано: «Не понимаю, откуда у подобных кретиннов берётся такое самомнение...» И дальше: «Имхо эти вещи неразделимы...»

Немолодая женщина проснулась в скором поезде рано утром. Она ехала в маленький приморский город возле целительного лимана. Полечиться... Когдато в юности она отдыхала в этом городке и часто потом его вспоминала. Ей даже снилось, и не один раз, что она туда приезжает, а на перроне её кто-то ждёт, кто-то очень близкий. Тот, кому она расскажет свою жизнь! И каждый раз она просыпалась в сильном волнении...

Старик Силин Г. С. проснулся в своей захлавленной светёлке, в кровати с допотопной продавленной панцирной сеткой и сразу вспомнил... Вчера он прочитал на форуме по вопросам механики твёрдых тел, в котором принимал участие, что-то мерзкое. Он послал туда свою большую статью, которую рассылал уже очень много лет в разные инстанции, и не получал ничего, кроме оскорбительных кратких резюме. Но старик был непоколебимо уверен в своей правоте и продолжал бороться за справедливость. Кроме интернета, у него накопилась большая бумажная переписка с высокими адресатами.

Силин перекинул из провала кровати своё жилистое, дочерна загорелое лёгкое тело, достал папку с чужими письмами и копиями своих и стал ритуально перебирать их, расковыривая сердечную обиду.

«Ваша работа неинтересна...», «Извините, но я не собираюсь читать Ваши письма...», «Если Вы не против, я могу их процитировать как хохму в ЖЖ, хотите?...», «Идите в жопу...», «Я согласен, чтобы доказать Вам, в какой жопе Вы сами окажетесь, игнорируя моё открытие...»

Всё началось во сне... Формула приснилась ему так ясно, так доказательно, что тем же утром он уже набросал начало статьи, которую через полгода кипучей исследовательской работы разослал в десятки инстанций. С тех пор это стало делом его жизни, его Веры. И Вера эта была сродни Вере первых христиан. Отличало их лишь отсутствие у него смирения. Он жаждал немедленного признания, а ему писали – обращайтесь в спортлото, жалуйтесь Папе Римскому... Или – пишите Путину! И ведь никто так и не опроверг его выводов!!! Никто!

В последней редакции своей статьи он договорился до того, что умолял всех, к кому обращался, быть хоть немного терпимее, и тогда, писал он в запальчивости, они поймут, что в статье содержится гениальное открытие, а Эйнштейн – или глупец, или плагиатор, или проходимец...

Вот и в это утро старик Силин загорелся немедля ответить очередным врагам, но ответ не складывался. Последнее время он стал забывать слова. Самые обычные... Форма, какое-то общее музыкальное звучание сохранялись, а суть ускользала, как змея из рук, и он уже устал восстанавливать утраченное.

Решил обходиться без них. Без этих слов, мало ли слов других. Да и с кем было особо разговаривать? Отдыхающие, которым он сдавал обе половины дома, были неразговорчивы и обращались к нему редко, лишь по хозяйственной надобности. Вечерами он ездил на своём допотопном велосипеде к старому городскому пляжу «на камнях» играть в шахматы, но там говорили тоже очень мало. С женой и дочерью разговаривал по телефону, коротко – всё хорошо, всё в порядке, обо мне не беспокойтесь... Они особенно и не беспокоились, зная главную его заботу и радуясь тому, что этот его «бред» их теперь не касается. Уже шесть лет жили они врозь, он, как бы на даче, на море, в своём отеческом доме, на выселках. Они – в большом городе, в их общей квартире, приезжая к нему с внуками только летом, недели на две. И всех это устраивало.

В лучшие времена построил он во дворе ещё один летний домик, для себя, правда, со всеми удобствами. Всё, как и в доме большом, настоящем. Собрал старую родительскую мебель, казалось, вполне пригодную. Ему, по правде говоря, с малых лет всё вокруг казалось пригодным, особенно, если руки приложить...

Дочка, приезжая, ругала за затрапезный вид, выбрасывала на помойку дырявые заношенные рубашки, которые давно перешли от сына, живущего теперь за тридевять земель. Он стал рубашки прятать, чтобы не выбросили. Жену и дочь считал расточительными, ведь они копили деньги на отдельную квартиру для молодых, так чего разбрасываться?

Вся эта возня с рубашками и с его неопрятной жизнью, когда он вдруг становился весь на виду, будто на плахе, раздражала, потому что одиночество было ему теперь жизненно необходимо для борьбы... с Эйнштейном.

Жену он никогда не любил. И теперь, дожив до старости, в бессонные ночи задавал себе вопрос, любил ли он вообще когда-нибудь женщину так, как это изображали почитаемые им великие. Так, как ему хотелось полюбить в далёкой молодости.

Жену он встретил к своему тридцатилетию после короткого неудачного первого брака. Та, первая, между прочим, красавица и удачница, выпроводила его со словами – «не знаю, зачем ты мне вообще понадобился, затмение какое-то нашло».

А эта, вторая, любительница горячих посиделок в их заводском общежитии, как-то сказала: «Ген!

А давай мы с тобой поженимся!»

– Я же тебя не люблю, – ответил он совершенно откровенно и даже с откровенной издёвкой, что было ему иногда свойственно и о чём он часто на себя по прошествии времени, бывало, досадовал...

– Да я тоже тебя, Гена, не люблю, – сказала вторая добавила: – Поэтому, думаю, у нас получится хорошая семья.

Теперь он уж и не знает, что получилось, семья не семья... Они там, а он здесь.

Да! А любви он очень хотел, когда к двадцати пяти годам, успешно окончив столичный добротный институт, иссохший до костей от дипломного напряжения и многолетнего полуголодного существования приехал на лето домой, в свой приморский городок. Приехал в дом, только что построенный отсидевшим десятку отцом и старшими братьями в благословенные

хрущёвские времена. Отец не был репрессированным, он сидел по хозяйственной части. Но это дела не меняло, семья успела за время его отсутствия обнищать до основания.

И вот, в этом, ставшем родным городе, он встретил девушку, отдыхающую, семнадцати лет отроду. И ему показалось, что пришла любовь...

Ему хотелось, чтобы всё было красиво, даже чтобы было безумно красиво, как у классиков в книгах. Денег у него не было, но у него были слова! Красивые, волнующие слова, вычитанные из книг! Он вообразил себя поводырём, потому что девушка была почти слепой в стране любви и двигалась ощупью.

В глубине души он сознавал и себя не совсем зрячим. Несмотря на свои 25, он был тайным девственником, обуреваемым страхами, телесными и сердечными, страхами своей бедной неприкаянности перед молохом не очень-то доброго к нему мира. Мечущимся между этими страхами и слепой отвагой...

Старший брат, который знал про девушку и про него, подначивал: «Ну чего ты, шкет, дурака валяешь? А? Она же ждёт, зуб даю! А ты всё лясы точишь! Давай!»

Но он не мог! Никак не мог, не знал, как переступить. Книжки, которым он верил, не советовали, это бы всё испортило.

Он сладко страдал и хотел, чтобы она поняла и оценила его страдания, даже намекал ей. Но, боже ты мой, она была ещё такая маленькая, она не хотела и слушать о каких-то страданиях, упиваясь его любовными словами.

Едва успели они с девушкой обменяться первыми восторгами вспыхнувшего чувства, как незаметно подошло время расставания. Конечно, были клятвы и обещания, даже слёзы и всё, чему полагается быть в таких обстоятельствах.

Случилось так, что в последующей собственной его жизни и в жизни его девушки многое круто поменялось. И события не благоприятствовали их отношениям.

Потекли годы и десятилетия, и были моменты, когда он девушку вспоминал, тосковал по ней жестоко и даже пытался срочно её отыскать, но потом, влекомый потоком житейской непрерывности, опять впадал в забытьё.

Проснувшись в субботу рано, старик Силин вспомнил, что сегодня надо идти к поезду, искать отдыхающих. Сезон выдался неудачный, и жена по телефону строго велела проявить инициативу. Жену свою он побаивался. Жизнь их, как жизнь мужчины и женщины, сложилась неудачно. И эту, неудачную, жена оборвала внезапно и нагло, сказав: «Мне это вообще не нужно... Вот так, шкет!»

Но, как бы ни был он доверчив, чувствовал, что жена свою женскую жизнь продолжает, и даже догадывался где и с кем. Злости не было, его согревала мысль, что у неё есть только ЭТО, а у него есть Эйнштейн и формула... Две большие разницы...

Поезд прибыл без опоздания. Старик Силин стоял наперерез людскому потоку, лившемуся прямо на него, и держал в руках заготовленную табличку с описанием своего прекрасного дома, хотя и далеко от лимана. Он почти не надеялся на удачу, потому что день начался плохо.

И вдруг от толпы резко отделилась немолодая женщина с чемоданом на колёсах и подошла к нему вплотную, вглядываясь, однако, не в табличку, а в его лицо. Он тоже вгляделся в неё внимательно, с той тревогой и волнением, которые иногда предвещают что-то сверхважное в жизни... Их толкали, а они всё смотрели друг на друга, не смея сказать что-нибудь, как в детской игре «Замри».

Он очнулся первым и спросил: «Неужели это ты?» И она, как эхо, сказала то же самое...

Он взял её чемодан и, не торопясь, приладил его к седлу велосипеда откуда-то появившимися верёвками. И они пошли рядом, разговаривая так, будто именно её он и встречал на этом вокзале. И вот встретил... Обычное дело!

Он шёл и думал, как сегодня же расскажет ей о своей теории и о формуле... О том, что он, собственно, совсем не против Эйнштейна. И ведь сам Эйнштейн считал, что лучшая теория

та, у которой путь к истине короче. А это и есть его, Силина, теория. Потом он думал о том, каким замечательным борщом угостит её завтра. И ещё о том, что их встреча – это настоящая иллюзия бесконечного движения, иллюзия кольца. Об этом он подумал почему-то совсем без печали, наоборот...

А она шла за ним, вдыхая с восторгом забытый аромат юга, и думала, что он вовсе не старик... Нет! Он Шурик из любимого фильма, а старый велосипед очень напоминает киношного ослика. А ей 17 лет, и она сегодня же расскажет ему свою жизнь...

Гроза

Мы так долго жили в раю, где не было смерти, не было ни разрушительных ураганов, ни цунами. То есть что-то такое где-то было, но нас никак не касалось, потому что мы-то были явно живы и уверены, что страшное может только в плохом сне присниться.

Такой якобы сон и приснился мне однажды в одном уединённом месте, совсем недалеко от заветной скамейки на Патриарших. Да, случилось всё это очень давно, в начале семидесятых. Я перед этим два года не работала, исполняя святую материнскую миссию. У меня родилась дочка. И по неписаным законам я (почитай мать-героиня, двое детей!) догуляла всё мне положенное и неположенное и прелестным майским утром отправилась наконец на любимую работу.

Дети в этот тревожный день остались с бабушкой. И хотя вопрос, кто её заменит, ещё не был решён, я чувствовала себя необыкновенно беззаботной и счастливой. Молодость меня ещё не покинула, материнство придавало сил, и я летела в то утро на крыльях внезапно обрётённой свободы.

Пребывая в те далёкие времена незамутнённой оптимисткой и летя на упомянутых крыльях, я что-то даже про себя напевала. Точнее, в то замечательное майское утро я пела голосом самого Шаляпина. «О! – пела я. – Если б навеки так было!»

Дело в том, что дети мои остались не в городе, а на съёмной даче, что по Казанской железной дороге. Дача, правда, была неказиста, полдомика-развалюхи, но очень живописная и дешёвая. А во второй половине домика-дачи поселилась замечательная красавица, она же бабушка с двумя внуками. Вот она и открыла для меня с помощью старого проигрывателя старые шалыпинские записи. И чувственный персидский напев, с гениальными шалыпинскими полубезумными вздохами, радостно лёг мне на сердце и не покидал его ни днём ни ночью... С одной стороны, я вела жизнь Золушки, дачка не имела никаких удобств. А с другой стороны, с другой половины красавица соседка манила меня рассказами о настоящей полнокровной жизни, обольщала музыкой, вольными разговорами...

«Ах, как весело сердцу, душе моей легко, ах, если б навеки так было...» – пела я по дороге на работу, прославляя весну, здоровье и свою женскую и человеческую власть над этим прекрасным миром и цветущим майским днём. Да и как было не петь! Вокруг поголовно цвела божественная сирень, блистало солнце на фиалковом чистом небе... Прохожие оборачивались на меня, потому что молодое бездумное счастье всегда притягивает сердца, даже если оно одето в жёлтую старенькую кримпленовую юбочку и давно немодную кофточку-лапшу...

Друзья и коллеги встретили меня, раскрыв объятия. Весь день я слышала только слова любви и восхищения. Я совершенно предалась этому празднику, всё домашнее отошло и стало таким далёким, будто моя дачка-развалюха находилась не в Московской области, а где-нибудь на Чукотке... О! Если б навеки так было!

Но вот день торжества подошёл к концу и нужно было собираться домой... Наш институт занимал огромную территорию на самом берегу Яузы. Территория представляла собой целую группу высоких и малых зданий, плотно замыкающих небольшой круглый внутренний двор. Иногда приходилось бегать из своего здания в соседние, где располагались подсобные службы. В основном бегали в светокопию, молодым людям сегодня это слово, наверно, и незнакомо. А в ту пору оно не сходило с языка: будь другом, сбегай в светокопию, отними чертёжик для смежников. Именно это и сказал мне кто-то в конце моего первого рабочего дня. И я побежала, опять же с радостью, с жадой вновь обрётённого труда. Народ, однако, уже повалил из проходной толпами, и надо было спешить. Во дворе мне встретилась куча знакомых, и с каждым нужно было обменяться каким-то знаком приветствия. Светокопия уже закрывалась,

и я едва успела всё сделать. Когда я вышла на волю вслед за последней убегающей работницей, вид буквально только что покинутого двора поразил меня.

Во-первых, двор был абсолютно пуст, толпу как ветром сдуло. А сам ветер, виновник этой пустоты, прямо на моих глазах неожиданно разыгрался не на шутку. С каждой секундой он не просто усиливался, он, можно сказать, зверел. От неожиданности я ослабила руку, державшую чертежи, и они улетели со скоростью света, закрутившись в воронке сумасшедшего вихря. Я не успела даже отреагировать каким-нибудь возгласом ужаса от потери, потому что вихрь закрутил и меня саму, рванул на мне юбку и стал нагло подгонять в ненужную сторону. Небо в одну минуту набухло, сделалось лиловым и страшным, а колодец двора мгновенно превратился в огромную ревущую трубу. Труба загудела, завывала, загрозила. Ветер вдруг подхватил меня, как соринку, и больно ударил плечом о косяк здания! Стало очень страшно, и от испуга возникло горячее желание позвать на помощь! Но кого? Никого кругом не было. Что же это делается?! Вот, только что, бежал народ и приветствовал меня! Что за наваждение! Они, наверно, предчувствовали этот надвигающийся ужас, а я отвлеклась... и вот.

Между тем небо над колодцем двора треснуло пополам, полоснуло зигзагом огня, и жестокий ливень пошёл безжалостно сечь меня безумными розгами за какую-то непонятную провинность. Всё это произошло так быстро и так жестоко, что совершенно не оставалось времени как-то осмыслить происходящее, я такого ужаса никогда не видела. У меня даже слёзы выступили от обиды на кого-то неведомого, кто затеял всё это вероломство и безобразия. Будто этому кому-то поперёк горла были моё утреннее счастье и моя песня! На миг показалось – да я вообще никогда не выберусь из этого колодца!

Я хочу домой!

Борясь с диким ветром и ливнем, я стала потихоньку продвигаться к дверям моего здания. Но не тут-то было! Вмятина асфальта, разделявшая нас, на моих глазах превратилась в бурное озеро... Ошалевшая (домой, домой!), я шагнула в него, и вода оказалась мне почти по бедру! Моя светлая жёлтая юбка намочила и сразу стала серой. Голова закружилась, и мелькнуло покорное желание просто лечь в эту мутную жижу и поплыть к двери... В трубе двора между тем в вихре, как безумные существа, высоко летали какие-то обрывки бумаг, ветки и всякий мусор. Подтянувшись к своему зданию, я наконец выскочила из грязной лужи на спасительное крыльцо входа и с огромным трудом (ветер не давал) открыла металлическую дверь... Спаслась! Ужас остался там, во дворе, как страшный одноногий Сильвер на своём корабле...

В холле первого этажа было тихо и пустынно. Вахтёр как ни в чём не бывало стоял на своём посту и взглянул на меня удивлённо и хмуро. Я хотела поделиться, рассказать ему о пережитом страхе, но он предупредил меня, процедив сквозь зубы: «Вы что, ночевать здесь собираетесь...» Очевидно, он не представлял, что творится за стенами института и что я только что пережила!

В нашем помещении никого, я взяла свои вещи и пулей выскочила из здания на улицу, опасаясь и там опять попасть в эту страшную грозу...

Ничуть не бывало! На улице мирно сияло солнце, тротуар, правда, был слегка мокрым, и над ним поднимался парок, будто сбрызнули и прошлись по нему горячим утюгом. Народ шёл по Земляному Валу не спеша и лишь немногие отряхивали и закрывали зонты... И только я одна, совершенно мокрая, очень грязная и насмерть перепуганная, ломая голову над только что произошедшим, как во сне, поспешила на электричку к детям, к даче, к Шаляпину...

Прохожие опять оборачивались на меня, но теперь уже с удивлением, если не с жалостью. В горле у меня пересохло, и стакан шипучей газировки по пути был как нельзя кстати...

«Клубится волною кипучею Кур, восходит дневное светило...»

Кубок мой полн, я впиваю с вином и бодрость, и радость, и силу».

Нет, кубок мой разве что чуть успокоил меня, а дневное светило утрачивало тепло прямо на моих глазах. И я дрожала от холода всю обратную дорогу.

На следующий день я расспрашивала коллег, как они пережили это невиданное нападение природы. Но они смотрели на меня очень странно, уверяя, что это была просто короткая майская гроза, ничего страшного и необычного. «А просто летний дождь прошёл, нормальный летний дождь». Что я могла им предъявить? Разве что огромный синяк на плече...

Однако ведь и на Патриарших когда-то не все граждане, помнится, стали участниками так хорошо известных нам с вами событий, не правда ли?

Но, заслышав при случае шаляпинские персидские вздохи, я всегда вспоминаю ужас той локальной грозы, которая для чего-то была послана мне, лично мне, как знак, который я должна была разгадать...

«Ах! О! Если б навеки так было! Ах, если б навеки, так было!»

Кондратьев и время

Кондратьев ехал из поликлиники на такси, бесплатный проезд временно отменили. За стеклом мелькала Москва его детства, она здорово изменилась, но он всё ещё узнавал её. Проехали мимо парка МВО, и вдруг вспомнилось... Лет восьми он, вечный свободный бродяжка, вот аккурат в этом месте потерял своё суконное пальтишко, перешитое бабушкой Фросей из дедова пиджака. Была ранняя весна, ему стало жарко, разделся... Как же он бегал, как искал по всему парку! Не нашёл, плакал и горевал на скамейке и думал, что же скажет, когда придёт домой.

И вдруг так защемило сердце, защипало глаза, будто всё это происшествие случилось только что...

«Старость! – подумал Кондратьев... – И чего вдруг вспомнилось... Надо же...»

К закату жизни Кондратьев окончательно вжился в свой собственный образ, сложившийся у домашних: «Ты у нас добрый, но ленивый...»

«Смешные люди! Да нет, не такой уж и добрый, – думает Кондратьев, – просто другие ещё хуже...»

Ленивый, ну ленивый, а чего без толку вперед-то лезть? От необходимых действий не отказывался, да... тянул резину, авось всё как-то само рассосётся.

Ну ведь и рассасывалось как-то!

Так вот и состарился незаметно, ну а тут уж и сам Бог торопиться не велит. Жена и сын всё над ним беззлобно посмеиваются. Жена, правда, однажды посмеялась-посмеялась, да и ушла к другому. А тот, другой, взял да и помер. Так что жена как бы и не совсем ушла. Приходит, помогает Кондратьеву, не оставляет в полном одиночестве, не чужая всё же...

Дворник, киргиз Ваня, всегда поздоровается и скажет: «Твой баба видел. Ходит?» – «Ходит, ходит», – успокаивает Кондратьев...

– Слушай! – заговорщически продолжает киргиз Ваня, – он с прописки у тебя?

На последнем курсе института, когда многие разбились на пары, Кондратьева тоже подхватила одноклассница, такая же бедная, как и он, но весёлая и озорная. Она сама предложила ему пожениться, то есть объединить свои усилия в сопротивлении окружающему миру. И он согласился. Здесь просматривался какой-то первозданный порядок. Что-то закончилось, чтобы что-то началось. Как бы было первое и было второе. Ну а на третье походило рождение любимого сына...

Киргиз Ваня не просто так спрашивает. Считает, Кондратьев сильно старый, того гляди помрёт, а квартира останется. Почитай, уже почти полдома заселили Ванины соплеменники.

Спит Кондратьев плохо, нервно, урывками. Он не расстраивается, не злится, терпеливо ждёт пришествия сна, думает, перебирает, пересыпает песок воспоминаний. Подумает, повспоминает и делает паузу, будто книгу пишет.

Однажды пришла мысль... Кто-то за ним всю жизнь ходит по пятам с ведром и тряпкой... стирает его следы. Этот ходящий ещё и ломает, уничтожает факты его земного пребывания. Вот, к примеру, он, Кондратьев, родился на замечательной московской улице. Слава богу, улица пока существует! Но дом!!! Кому понадобилось сломать крепкий, красивый сталинский дом?! Ну ладно, рядом были дома поплосше, но его дом! Просторные квартиры, ну и что – коммуналка! Высокий потолок! На кухнях пол из мраморной крошки! Как все гордились домом, а окрестные уважительно называли – Академический! Потому что Академия построила в год Кондратьевского рождения, в том самом страшном году.

И что? Снесли! Как и не было никогда того прекрасного мира с дворником татаринцем Сайфуддиновым, жившим в подвале с многочисленным семейством. С толстой ровесницей Райкой Сайфуддиновой, которую Кондратьев тайно боялся пуще огня.

Мать растила Кондратьева одна, с бабушкой Фросей. В ясли отнесли его двухмесячного. В те предвоенные времена это было делом обычным. Грудничок-Кондратьев болел, но ясли были хорошие, и он выздоравливал и рос, как и положено, переходя из группы в группу. Всё было по порядку, и Кондратьев полюбил этот порядок навсегда.

Зимой, с умилением вспоминает Кондратьев, детей выносили на террасу спать в спальных мешках в тихий час. Но самое главное, всё было обозначено... Если еда, то первое, второе и третье. Порядок. И порядок этот длился и длился... Но потом в один момент как-то всё ослабло, перепуталось. Он и сейчас, на девятом десятке, терпеть не может всякой расплывчатости, расточительности. Вот зачем ему подарили на день рождения свитер, если свитер у него уже есть. Только путается.

Зачем? Когда всё уже давно назначено, раз и навсегда. И если ему вдруг не ко времени дают что-то сладкое или фрукты, Кондратьев в раздражении отодвинет:

– Нет, это на третье, это потом...

А уж перепутать второе с первым... Вообще ни в какие ворота...

Мать отдала Кондратьева на пятидневку. В субботу она его забирала. Он вспоминает, как она везла его на санках по белому-белому снегу, который пах Новым годом, и он знал, дома они будут есть вкусные толстые белые макароны. Лучше тех макарон, считает Кондратьев, ничего и не было. Теперь, конечно, есть всё, но вот тех, толстых, настоящих...

Однажды маленький Кондратьев сильно заболел, поставили диагноз – хронический колит. Жизнь превратилась в мучительное сидение на горшке, и даже любимые макароны не искушали больше трёхлетку Кондратьева. Однако доктор Михаил Иванович, материн ухажёр, сказал: «Идиотизм какой-то! Хронический колит! Да он ещё и сам-то не хронический...» И вылечил Кондратьева в два счёта.

Иногда Кондратьева одолевают сомнения. С тех пор прошло столько лет... А он и сегодня не знает, сам-то он хронический или нет, а кто скажет? Ведь этот... с ведром и тряпкой... ходит и ходит следом.

Сначала куда-то подевался Михаил Иванович. Исчезло здание детского сада с колоннами, с террасой, где так спалось в зимнем спальнике, как нигде уж потом.

Когда началась война, для Кондратьева ничего не изменилось. Его так же, как и раньше, мать забирала перед выходным, она теперь работала в госпитале при Академии. У многих детей отцы воевали, отцов ждали, рассказывали про них, скучали. Кондратьев никого не ждал, ни по кому не скучал, в саду подкармливали. Стало скуднее, но всё по порядку: первое, второе, компот...

Бабушка Фрося всё так же всплёскивала руками по вечерам: «Господи, уже семь часов, а я ещё чайник не ставила!» А в саду каждый праздник Кондратьев был запевалой на утренниках и знал наизусть все песни про вождя и про Родину. Да что там – знал! Он и сегодня их помнит все, до единого слова... Хоть ночью разбуди! Как дважды два!

Ему ставили под ноги ящик, чтобы лучше было слышно, воспитательница Таисия Ивановна садилась за пианино, проигрывала пару вступительных аккордов и, посмотрев на него с надеждой и любовью, взмахивала правой рукой. И он заливался соловьём...

Когда внучка была совсем маленькой, он успокаивал её этим пением лучше любой игрушки, она знала весь его репертуар. И нежную песню «По солнышку, тропинкой луговой», и «Эх, хорошо в стране Советской жить», и много-много других...

По выходным мать брала его в гости, к подружкам. Отлично помнит он тот деревянный уютный дом на Благуше, где собирались эти ещё молодые и одинокие женщины, ожидавшие гостей, военных из госпиталя... Его, тогда уже пятилетнего, празднично кормили и отправляли надолго погулять. Он прекрасно проводил время, шатаясь по старым московским переулкам. Мимо проходили коренастые улыбчивые военные девушки в сапогах на крепеньких надёжных ногах, они несли на верёвочках воздушную серую колбасу, аэростаты... Они его охраняли.

Однажды он нашёл маленький осколок бомбы, ему показалось, ещё тёплый...

В особо погожие дни добегал он до самой Хапиловки. И никто за него не беспокоился, и был он одинок, совершенно спокоен и совершенно счастлив.

Но где же тот замечательный дом, из которого отправлялся он путешествовать? Кондратьев искал его, но не нашёл никаких следов...

А где школа красного кирпича, что стояла вот здесь, у поворота трамвая к знаменитому кладбищу? Слава богу, там ещё сохранился намоленный склеп Эрлангеров, заговорённый, помогающий на экзаменах. Кому помешала прекрасная школа, во дворе которой сумасшедший военрук гонял их до седьмого пота, подстёгивая обидными прозвищами: «Незаконнорожденные! На месте шагом марш!» Кондратьев думал, что это про него. Он не обижался...

Фрося умерла уже после войны в трамвае, поехала к сёстрам на Третью Мещанскую. Сёстры с семьями жили там в коммуналке с дворцовым паркетом и десятью звонками на старинной двери. Кондратьев недавно слышал стороной, что бывший доходный дом этот собираются снести...

Сейчас, в дни Великого Карантина, Кондратьев выходит из дома редко. Продукты ему приносят.

Выход без всякой цели он не признаёт. Копит мусор, собирая его в крепкие красивые пакеты, это цель... Это придаёт смысл, порядок...

Вот прямо у подъезда затормозила лупоглазая легковушка, похожая на свинью. И ведёт себя посвински, встала на линованной «пожарной» территории. «Из-за таких и горим...» – подумал Кондратьев. Лет пять тому назад и правда сгорела квартира на втором этаже. Один полоумный зажёл свечку, романтик хренов, и пошёл в душ. Пока пожарные пристраивались абы где, всё и сгорело... Кондратьев тогда чётко среагировал, быстро полез на антресоль, где у него в старом резиновом сапоге была спрятана заветная заначка...

На лавочке у соседнего дома сидит нестарый пенсионер по прозвищу Милиционер. Он и правда был милиционером, хотя в округе слывёт слабоумным. Милиционер всегда благодушен и притворно миролюбив, словно, покидая службу, оставил там и весь негатив прожитой жизни. Живёт он с такой же слабоумной женой. С ними ещё какой-то родственник жил, тот совсем уж был никудышный, но его недавно Бог прибрал.

Выражение рыхлого, бледного Милицейского лица являет крайнюю заинтересованность в собеседнике...

– Как дела? – покровительственно и громко, как у глухого, спрашивает Милиционер у Кондратьева, явно настраиваясь на продолжительную беседу.

– Нормально! – сдержанно говорит Кондратьев, тонально не обещая большого разговора.

– Вторую дали, – добавляет однако он скупое, так, из вежливости, для развития беседы.

– Хорошо! – живо заводится Милиционер. – Прибавили?

– Прибавили... – Кондратьев поневоле ощущает себя уже втянутым. – Чувствую, можно бы уже и первую.

– Прибавят! – уверенно, хотя и с долей плохоскрываемой зависти, продолжает Милиционер.

– А вы-то как? – осведомляется Кондратьев, желая гладить свою будущую удачу.

– Хорошо! – радостно и благодарно отзывается Милиционер. – Хватает!

– А супруга?

– В «Пятёрку» пошла, – счастливо захлёбывается милиционер. – Там акции сегодня сплошные! До часу вообще хорошо! Можно брать! Хорошо живём, ничего не скажешь. Всё берём, что хотим, яйца, сметану... Теперь вообще двое, хорошо. Прибавили... Хватает...

С Милиционером Кондратьев близко познакомился лет десять тому назад, а кажется ему, что это случилось очень давно. Вроде встретил он Милиционера ещё студентом, году в 58-м, осенью, на картошке, в одном убогом совхозе. Жили там голодно, но очень весело. Как-то в

выходной раздобыли вина и разожгли за околицей костёр. Картошка, грибы, консервы... Разомлели, и потянуло, как в детстве, путешествовать. За ним увязался сокурсник Толян. Затемно забрели они бог знает куда и наткнулись на милицию. Ничего плохого они вроде не сделали, но были пьяны...

Милиционер привёл их в местное отделение. Был он совсем молодой, рыхлый белесый парень. Важно сидел за ободраным столом с висящей на соплях инвентарной биркой, обречённо смущающей засыпающего на ходу Кондратьева, и вёл допрос. Напряжённо хмурился, что-то записывая в протокол слюнявым химическим карандашом.

Сказать они ему ничего не смогли, поскольку никакими нужными сведениями не обладали, только мычали что-то маловразумительное. Милиционер же был трезв, но тоже безнадежно косноязычен. Коронная фраза звучала жалобно: «Что же мне с вами делать, я прямо и не знаю. Документов у вас нет, и без головных уборов...»

Последний довод был сильным ходом. Кондратьев и Толян были без кепок, и милиционер не мог точно определить их положение в обществе. Ночью их отпустили...

Странное дело... Спустя столько лет, общаясь с Милиционером, Кондратьев томился, он не любил идиотов. Но какая-то неведомая сила заставляла его каждый раз отрабатывать этот номер, как ковёрного в цирке... Будто он опять заблудился и оказался в отделении без документов и, главное, без кепки.

Однажды Кондратьев был в тех краях и захотел найти место, где жили они, копая колхозную картошку, но ему сказали, что этой деревни давно нет, и теперь живут там одни московские дачники.

Здания института, старинного и в хорошем месте, куда Кондратьев поступил когда-то и которое служило прибежищем многим, далеко не худшим, но не сумевшим по неким причинам поступить в более престижные вузы, этого здания тоже давно не существует. Мужик с ведром и тряпкой прошёлся по дорогой земле великого города, чтобы освободить место для чего-то нового, более важного...

Но Кондратьев тогда поступил и тихо гордился этим. Он забыл про лень, да и всё у него оказалось в полном порядке – отца вообще никогда не было, а мать занимала так мало места в табели о рангах, что и в расчёт не принималась.

Кстати, незавидное семейное положение Кондратьеву тоже оказалось на руку. Его, как единственную материнскую опору, не послали отрабатывать студенческий трёхлетний оброк, а выведя на светлую дорогу жизни, сказали: «Иди ты, парень, на все четыре стороны...»

И он пошёл... После непродолжительных скитаний благополучно приплыл он в тихую, но не самую худшую гавань, где время от времени за весьма умеренный оклад-жалованье можно было, повесив пиджак на спинку стула, предаваться созерцанию природы в близлежащем парке культуры и отдыха.

Было бы неправильным утверждать, что Кондратьев не любил свою Гавань. Может, и любил... Да и вариантов было не так много. А манкировал он, просто бравируя тайной независимостью... Потому что большинство окружающих как раз демонстрировали необыкновенное трудовое рвение.

В мире Гавани нутром осознал он основной, всеобщий его закон: едва принявшись за дело, обязательно громко прокукарекай, как заполошный деревенский петух, чтобы все слышали. Но Кондратьеву кукарекать было почему-то очень смешно, да и лень... Он принимал эту суету как необходимый, но не пожизненный спектакль: поучаствует по мере сил и когда-нибудь тихо уйдёт в лабиринт любимых улиц.

Между тем на плохом счету он явно не был, и в партию его звали, и даже Органы им дружелюбно интересовались, только он никуда не пошёл. И ему казалось, что он их всех просто дразнит, как Колобок из детской сказки. И от этого ушёл, и от того... И ничего-то ему от них не надо, он вольный московский путешественник...

Кондратьев, уставший от Милиционера, сделал попытку встать и уйти, но Милиционер своей огромной ручищей удержал его:

– Сиди! Чего там!.. Скоро сломают нас, слышал?

К 21 году сказали...

– Слыхал, – пробурчал Кондратьев. Он уже давнопереживал эту угрозу, мужик с ведром и тряпкой так и мерещился ему на каждом шагу.

– Чего хорошего-то? – хмуро спросил он у Милиционера.

– А дадут! Дурак! Больше дадут! Понял? И Милиционер показал руками, как много дадут.

– Мне больше не надо. Мне тут хорошо.

– А нельзя тут! – сказал Милиционер оченьважно, с напором, как истинный государственный. – Тут большие дома будут строить! Как у трамвайной остановки, понял?

– Я пошёл! – мрачно сказал Кондратьев и решительно двинулся к асфальтовой дороге.

Уже много времени прошло с тех пор, как большой начальник, свежевымытый, с красиво уложенной причёской, рассказал с экрана телевизора про то, что дом Кондратьева будет снесён с лица земли.

Кондратьев сначала просто обомлел. Не поверил! Но потом, продираясь сквозь обманные сладкие слова, понял: его старенькая обихоженная двушка, его зелёный двор, соседи, его мир, всё обречено...

Тайно обдумывал он способы защиты, потому что смириться было невозможно! Смирение было смертью! И Смерть стала являться ему в бессонные ночи в образе благоухающего большого начальника. Кондратьев с ним разговаривал. Жаловался. Взывал!

Он говорил, что до сих пор так и не смог стать хроническим, как обещал Михаил Иванович... Сломают последний его дом, и не останется от него ни единой приметы на этой земле.

Где же Бог? Бога долго не было, он оставался разве что у Фроси на иконе, и во время его отсутствия, говорили, всё стало дозволено. А сегодня? Бог, он же везде, все только о нём и говорят, он есть... А выходит, дозволено ещё больше, чем раньше...

Сам он, Кондратьев, грешник, конечно, но, по крайней мере, честный. Над ним всю жизнь из-за этого посмеивались. С раннего детства. Вспоминается по мелочам... Однажды мать принесла из санчасти неновую простыню с чёрным штампом метки. Господи! Как он тайно и долго страдал и трусил, не спал ночами... Ждал кары, земной и небесной... Пронесло...

Кондратьев постоянно слушал радио и был, как говорится, в курсе мировых событий. Они, эти события, уже не так сильно его и задевали. Задели недавно армяне. В таинственной стране Карабах. Те, которые, покидая этот Карабах, оказывается, сжигали свои собственные дома.

Он прямо ощутил этот южный каменный жар в дымке далёкого армянского селения, ясно увидел эти дома, полные простой правильной жизни и скарба. Армяне, думал он, народ работающий, не бедный, домовитый. Всё нажито, устроено, всё к месту. И вот... Руки, небось, дрожали... Керосин! Подносили спичку, поджигали... Нет, невозможно! Но выхода нет! Он мучительно представлял себя на их месте, себя, стоящего перед таким страшным решением.

Всю ночь Кондратьев мучился от бессонницы, бегал то и дело в туалет, а под утро канул в сон, как в глубокий чёрный колодец. И опять пришёл к нему во сне главный начальник с красивой причёской и маленьким злым ртом на холёном лице. Едва приоткрывая этот свой жёсткий рот, как бы делая большое одолжение, монотонным ледяным голосом сказал, что должен немедленно, сей же час, снести Кондратьевский дом, потому что дом этот отвратительно, невыносимо, недопустимо... некрасивый.

Рядом с начальником стоял толстый кивающий милиционер и ещё тот самый мужик с ведром и тряпкой наготове. Милиционер успокаивал, всё повторяя: «Тебе прибавят! Приба-

вят!» Но Кондратьев его не слушал. В жутком отчаянии твёрдо решил он дом свой сейчас же, пока пожарная площадка занята чужой тупорылой машиной, СЖЕЧЬ!

Но вспомнил, что у его новой газовой плиты теперь автоматический поджиг, и поэтому в доме давно нет спичек. От этой подлой безысходности у него схватило сердце, Кондратьев стал задыхаться и

хотел уже позвать жену на помощь...

Но вместо жены вдруг появилась воспитательница Таисия Ивановна. Она, ободряюще выглянула из букваря, где мыла раму, сыграла на пианино два знакомых такта вступления и взмахнула правой рукой...

И Кондратьев понял, что спасён. Он моментально всё вспомнил, будто никакого ВРЕМЕНИ вообще не существовало, и громко запел благодарным, трогательным детским голосом:

Покоряя просторные дали,

Мы вернёмся к родным берегам, Где любимый и ласковый Сталин Улыбнётся приветливо нам!



Взгляд из окна вагона поезда

«Какой же русский не любит быстрой езды?» Так воскликнул классик, чем застолбил навечно приоритет русских в скорости передвижения. Так ли это на самом деле?

Самые скоростные поезда, однако, бороздят не российские просторы. Скорость европейских поездов дальнего следования от 200 до 400 километров в час. Наши обычные поезда дальнего следования до этих скоростей сильно не дотягивают. Так что никто «косясь, не посторанивается» и дорогу не уступает.

Но дело в том, что из европейского поезда в окно ни черта не увидишь, всё законное проносится как одна линейная общность, никаких тебе красот. А у нас... «Всё гляжу, всё гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу...»

Бывает, конечно, что «глаза бы мои не глядели», но сегодня не про это...

Есть вещи, не терпящие определённости. Вопрос, чем пахнет вокзал или поезд дальнего следования, разрешился неприятным словом «креозот». Слово отдавало больницей, химией, всем тем, что приближает к страшному. Сегодня я не чувствую этого запаха, с ним что-то сделали, убрали и тем самым отрезали меня от всего, что было связано с ним. И только насильственно разбуженное воображение может воскресить картинку божественно сладкой дорожной жизни. Вполне возможно, что виновник этого не злополучный креозот, а возраст. Ведь только молодость способна волноваться от вдруг показавшихся в вагонном окне проржавевших Доков на подъезде к Одессе. Только она способна волноваться долго и по нарастающей, начиная от последней станции Вознесенска, предчувствуя море в тумане раннего утра, в скрежете состава и в предвкушении вокзала и встречи. Волноваться, когда в клубке рельсов уже видишь обрывистый берег Лузановки и рыбаков, и сети, с трепещущими бычками и анчоусами. И уже представляешь, как вечером мимо дач будут ходить невидимые в темноте люди и громко зазывать, как у Катаева в «Парусе одиноком»: «Бычки! Бычки! Кому бычки!» И вот уже запах креозота напрочь перебит незабываемым запахом лузановской нежной волны. И уже не волнение, а безумное сердцебиение начиналось ещё в дороге от ласковых названий на зданиях приземистых южных вокзалов – Сухиничи, Конотоп... От жарких платформ с картошечкой и огурчиками, варенцом и семечками, от певучей мовы.

А вот ещё станции, про которые можно только спеть: «От их названий ласковых становится теплей». Белая Калитва, Ростов главный, Тоннельная... Этот поезд шёл в славный град Новороссийск... На какойто из станций, где стоянка была мизерная, народ выскочил, помню, из вагона и немедленно бултыхнулся в воды близлежащего не то озера, не то лимана. Стояла дикая жара. А вёз нас обыкновенный паровоз, и все мы, потные от вагонной духоты, были покрыты слоем угольной «пудры». Едва окунувшись в благодатные воды озера-лимана, все помчались обратно на призывный гудок паровоза. Трудно описать нас – купальщиков, разукрашенных потёками чёрной сажи... Смеялся весь поезд, скоро море, всё в радость...

А ехали мы тогда в Геленджик – я, два моих двоюродных брата и тётя. Пылало лето 1954 года, время большой смуты. Мне было 15 лет, а старшему брату, студенту, 18. Брат был в то лето влюблён, писал пыльные стихи и считался в своём студенческом кругу личностью незаурядной, как, впрочем, и его окружение само себя считало. А я только перешла в 10-й класс, и была ежечасно братом-поэтом подавляема за несоответствие.

В нашем купе на верхней полке пребывал ещё один человек, лет сорока, пожилой, по нашим понятиям. Человек этот загадочный почти не вылезал на волю, не пил, не ел, а всё читал какие-то пожелтевшие листочки.

– Он читает ноты, партитуру, – разведал мой гениальный брат. А тётю очень беспокоило упорно голодное существование нашего соседа, и она с помощью некоторых дамских ухищрений выманила-таки его из логова за стол. В общем, слово за слово, завязалась беседа, и

брат вовлѣк попутчика в обсуждение великих событий. Молодой пыл брата, его глобальные мысли, вместе с мыслями его студенческого круга, всё было выдано на-гора незнакомцу. Тот парировал уважительно, осторожно, но весомо. К сожалению, невозможно сегодня пересказать содержание этого эпохального разговора, разговора между будущим уважаемым учёным и уже состоявшимся человеком искусства уходящих лет. Я слушала их, затаив дыхание, слов у меня никаких не было, одни чувства... И все эти чувства были написаны на моём чумазом лице. Впрочем, мы уже знали, как зовут нашего соседа, знали, что он бывший солист Большого театра и теперь едет в Краснодар, чтобы спеть в оперном театре партию Радамеса в опере «Аида». Я была совершенно подавлена, вот какой человек запросто беседует с нами. А он вдруг возьми да и скажи: «Знаете, петь я буду послезавтра, спектакль будет транслироваться по радио на весь Краснодарский край (он назвал время). Так вот, своё выступление я посвящаю, – тут он совершенно серьёзно посмотрел на меня, – посвящаю вашей девочке. Слушайте меня в своём Геленджике!»

Он сошёл с поезда ранним утром, все ещё спали. Уходя, абсолютно отцовским жестом он поправил простыню, которой я была укрыта. Всё же мне было уже 15 лет, и спящей, конечно, я притворялась, потому что нельзя же спать, когда от тебя навсегда уходит любимый человек. И совершенно, совершенно неважно, что любви моей было меньше суток отроду.

Да! Я слушала «Аиду», сидя у репродуктора, прикрепленного к столбу в Геленджикском парке, слушала вместе с тётей, двумя братьями и целой толпой отдыхающих. Но они-то были там абсолютно ни при чём...

2017 г.

Мебиус

*«Время – всего лишь воздух»,
Что веет между нами,
Всего лишь облака, ведомые ветрами,
Всего лишь только пыль, в которой прах,
Всего лишь эхо где-нибудь в горах.
...Быть может, это боль, придёт и отболит,
Быть может, просто моль, вспорхнёт и улетит,
Кометы звёздный хвост, убийственный дурман...
Ответ, быть может, прост – оно обман... обман.*

Это мой давнишний слабенький стишок... Но суть его осталась для меня неизменной. Время обманчиво. Цифры пугают, но ведь страх даты – это страх несоответствия времени и величины человеческой жизни. А на самом деле...

«Наше всё», А. С. Пушкин, родился в 1799 году. Едва успел А. С. помянуть в «Онегине» начинающего экономиста Адама Смита, как другой экономист по имени Карл Маркс, родившийся всего через 19 лет после Пушкина, уже тут как тут. А в 1848 году (если бы не дуэль, Пушкину было бы каких-то 47 лет!) уже издан «Манифест коммунистической партии», и призраком Коммунизма уверенно бродит по Европе.

А в 1867 году написан «Капитал», и дело пошло... И всё это всего лишь через 30 лет после смерти 37-летнего Пушкина...

У нас в диване хранится «раритет». Когда я что-нибудь ищу, «раритет» обязательно попадётся мне под руку. И я обязательно накину его на плечи и даже подойду к зеркалу... Условно я называю его тальмой, но знаю, что это никакая не тальма, скорее это пелерина. Шёлк, кружева. гофре... Маленький стоячий воротничок и клеймо. В ту пору хорошие вещи клеймили. Сегодня говорят – лейбл.

Вещь эта осталась от бабушки мужа, Федосьи Васильевны Волковой. А вот и сама бабушка, да не одна, а с дедом, Миаилом Филипповичем, на фотографии. На твёрдом, фирменном картоне. Сделана, наверно, сразу после свадьбы. М. Ф. – красавец, эдакий купец-удалец! Ф. В., пожалуй, не дотягивает. Больно большеголовая, но свеженькая, молоденькая...

Внизу вязью написано: «г. Москва, Ю. Мебиус, основано в 1850 году. Кузнецкий Мост. Дом Князя Гагарина. Телефон номер 600. Негативы сохраняются для дальнейших заказов и для увеличения».

Я ношу обручальное кольцо Ф. В., венчальное, внутри выгравирована надпись: «Михаил, 1889 год».

А через каких-то 11 лет, всего лишь через 11 лет, в фотоателье «Мебиус» на Кузнецком Мосту был сделан снимок другого человека, его звали В. И. Ульянов, то есть Ленин.

В Москве было тогда 45 фотоателье. Но родные посоветовали ему именно это, поскольку фирма считалась солидной, и Ульяновы сами пользовались её услугами. Оказывается, будучи в Уфе, при расставании с ссыльными друзьями он пообещал товарищам Ивану Проминскому и Оскару Энгберту прислать на память фотокарточку. Обещание своё сразу же и выполнил (вот такой обязательный!). Снимки ушли в Шушенское...

Что же это за дом Князя Гагарина на Кузнецком Мосту, 19.

Небольшая справочка...

Доходный дом с магазинами князя

А. Г. Гагарина – историческое доходное здание торгового назначения, расположено в Москве на улице Кузнецкий Мост.

Построено в конце XIX века в две очереди по проекту архитектора Клейна. В доме находятся палаты XVIII – начала XIX века. Здание является объектом культурного наследия.

И далее...



H. Meyer  *Москва.*

В. И. Ленин. 1900 г.

Снимок сделан в фотоателье «Мебиус»

В 1888 году в новом здании разместился филиал универсальной торговой фирмы «Мюр и Мерилиз», частым покупателем которого был никто иной, как А. П. Чехов.

Чехов, между прочим, всегда проявлял необыкновенное внимание к дамской моде. Он не просто следил – он собирал модные картинки, выкройки для сестры. Из переписки: «Напиши: присылать ли тебе моды и выкройки из "Нивы", или только сохранять их, или бросать?» (П. 8, 44. 23 января 1899 г.), «Моды пришлю» (П. 8, 74. 4 февраля 1899 г.), «"Парижские моды" при "Ниве" целы, я привезу их» (П. 11, 230. 29 июня 1903 г.). Заметьте, «Парижские моды» он предназначал не жене – сестре. И не только потому, что та умела шить, просто он был уверен во вкусе Ольги Леонардовны: «Раневскую играть нетрудно, – пишет он, – надо придумать улыбку и манеру смеяться, надо уметь одеться. Ну да всё ты сумеешь» (1903 г.).

Так что одновременно с бабушкой Федосьей и дедушкой Михаилом Филипповичем в дом по адресу Кузнецкий Мост, 19 приходил и ссыльный Вл. Ульянов, и изящный Антон Павлович Чехов, по рассказам которого можно проследить весь путь женской моды конца XIX – начала XX века.

В рассказе «Женский тост» (1885 г.) читаем: «А вы, юмористы-прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утратили бы девять десятых своей смехотворности, если бы в них отсутствовала женщина? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в длинных шлейфах и турнюрах?»

Я вот думаю, ведь они (Ульянов и Чехов) могли бы и встретиться в тот день 1900 года. Первый, предположим, идёт фотографироваться, а Антон Павлович как раз за выкройками для Марии Павловны. Ленин-то уж как-нибудь Чехова бы узнал. Да что там узнал! Он наверняка уже прочитал нашумевший рассказ «В овраге». Он мог подойти к А. П. и что-то сказать по поводу рассказа, выразить своё восхищение. Или по поводу нарождающейся сельской буржуазии, а? Он, помнится, даже статью написал о двух путях развития... И как бы Чехов реагировал? Интересно... Жаль, не случилось, а ведь наверняка были рядом.

Если Антон Павлович бывал в будущем Пассаже на предмет изучения дамских туалетов, то Лев Николаевич Толстой сделал у Мебиуса свою последнюю фотографию в 1910 году. А с Чеховым, как мы знаем, он встречался, правда, не у Мебиуса.

А вот Федосья Васильевна с Михаилом Филипповичем, им что Ульянов, что Чехов бы встретились, всё до лампочки.

Мещане, они мещане и были. Михаил Филиппович, скорее, мог быть для Антона Павловича прототипом какого-нибудь своего героя. Взять хотя бы его манеру выливать ночной горшок из окна, когда кто-нибудь мимо его дома проходил. Федосья Васильевна ему иногда пеняла, на что он обычно отвечал: «А пусть они мимо моего дома не ходят».

С Лениным Михаил Филиппович непосредственно не встретился, но благодаря будущему вождю дома своего он лишился. Да хорошо хоть только дома, а не жизни... Всё же он родня моим детям, как ни крути...

Что же касается встречи с Львом Николаевичем Толстым, когда тот сделал свою последнюю у Мебиуса фотографию... Знаете, я этой встречи и врагу бы не пожелала. Я часто вспоминаю рассказ незабвенной Тэффи. Она, будучи подростком, мечтала увидеться с гением. Было очень страшно... Исподволь узнавала, где Толстой живёт. Говорили разное – то, что в Хамовниках, то, что будто уехал из Москвы, то, что на днях уезжает.

Купила портрет. Стала обдумывать, что сказать. Боялась – не заплакать бы. От домашних своё намерение скрывала.

Наконец решилась. Приехали какие-то родственники, в доме поднялась суетня – время удобное. Сказала старой няньке, чтобы проводила «к подруге за уроками», и пошла.

Дальше по тексту...

«Толстой был дома. Те несколько минут, которые пришлось прождать в передней, были слишком коротки, чтобы я успела удрать, да и перед нянькой было неловко.

Помню, мимо меня прошла полная барышня, что-то напевая. Это меня окончательно смутило. Идёт так просто, да ещё напевает и не боится. Я думала, что в доме Толстого все ходят на цыпочках и говорят шёпотом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.